

тинаучной и мошеннической (см. резкий антисциентизм Хармана).

Пускай Харман и не хочет признавать этой своей общности с Делёзом, в философском плане ими разделяется одна и та же стратегия. Преимущество позиции Делёза заключается в том, что *медиум там не выступает обманщиком*: он вовсе не тянет, так сказать, на себя одеяло и не пытается манипуляторскими приемами привлечь к себе внимание. Напротив, фетишизм представляется лишь одной из целого множества схем, входящих в состав фигуры под названием «мазохизм».

Ловкость рук — пожалуйста, но вот только никакого мошенниче-

ства, извините. Нужна ли нам сегодня фетишистская онтология вещей? Может быть, но не стоит считать ее какой-то целью в себе. Она должна быть подчинена некоей более общей задаче. *Выяснение и очерчивание контуров подобного рода задачи* — вот что могло бы входить в повестку дня так и не родившегося пока движения под названием «Спекулятивный реализм», «на пути» к которому мы всё еще, несомненно, находимся. И стоило бы надеяться, что этот «виртуальный мальчик» наконец родится и заорет на всю клинику, как оно и подобает здоровому младенцу.

Артем Морозов

ФИЛОСОФИЯ В СПИСКАХ¹

Нелли Мотрошилова. Отечественная философия
50–80-х годов XX века и западная мысль.
М.: Академический Проект, 2012. — 376

Неодолимая тяга к перечислению часто побуждает нас читать практические списки так, словно это списки поэтические — и в самом деле, часто отличие между практическим и поэтическим списком всецело определяется нашим к нему подходом.

У.Эко

Русская философия болезненно переживает свою провинциальность. Ее отношения с «западной мыслью» оборачиваются в книге Н. В. Мотрошиловой настоящей драмой: их то разлучает «несправедливая судьба», по прихоти которой за границей не слышат «собственное, ори-

гинальное слово» наших философов (117, 123), то вновь сводит вместе «спонтанная параллельность» (8, 108).

Проблема провинциализма, однако, далеко не исчерпывается недостатком внешнего признания. В гораздо большей степени она касается режимов философской работы и дисциплинарного здравого смысла, выражающихся в политиках письма, цитирования, публикации и обсуждения, в классификациях и определениях, которые произво-

1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 12-03-00562а «Трансформация российского философского сообщества во второй половине XX — начале XXI века».

дятся в господствующих позициях и транслируются через учебные программы и пособия, но также — в корпоративной замкнутости и интеллектуальной коррупции. Мне кажется, социология знания, объективация мышления, позволяющая разорвать с господствующими формами саморепрезентации философии (представления о «республике философов», о мысли как собственности автономного субъекта и т. д.), может стать одним из средств преодоления провинциализма. Именно поэтому сегодня разговор о советской философии 1950–1980-х имеет чрезвычайное значение.

С этим связаны высокие читательские ожидания, предъявляемые книге на эту тему, написанной к тому же активной участницей событий. Книга, однако, отвечает далеко не всем этим ожиданиям. Начать с того, что она рассыпается на три почти равные по объему части: в первом и втором разделах речь идет об отечественной философии, третий представляет собой в основном учебник по мертоновской социологии науки, пятый — републикацию статьи о Мамардашвили из ифрановской книжки², похвальное слово Валерию Подороге и пару интервью, а четвертый раздел «Были ли новые тенденции в послевоенной отечественной философии замечены на Западе?» занимает всего 6,5 страниц. Но дело не только в этом: текст постоянно двоится, постоянно переходит из исследовательского регистра в мемуарный

(иногда ритуально-мемуарный), причем так спонтанно и легко, что в какой-то момент начинаешь сомневаться, действительно ли такой переход проблематичен, действительно ли он требует методологической рефлексии, всякий раз отчетливого различения типов данных, объективации собственной позиции в профессиональном поле, которая (возможно) позволит избежать наиболее грубых ретроспективных искажений.

Нужно уточнить: под это скрещивание «социологии философского познания» с «воспоминаниями и размышлениями» подведены определенные «методологические основания». Уже из аннотации читатель может узнать, что «тексты объединяет концепция места философии и философов в исторически развивающемся обществе. Ядро этой концепции составляют три основных принципа. Первый — это понятие работающей идеи, второй — это то, что сама Н. В. Мотрошилова называет «личностный принцип», и третий — это различение трех уровней исторического развития общества: цивилизация, эпоха, историческая ситуация» (2). О первом «принципе» мне сказать нечего, словосочетание «работающая идея» ни разу больше не употребляется, но два других весьма любопытны. «Личностный принцип» — это, как поясняет автор, соотнесение философии и личного опыта философа: «Тип его личности, характер, ценности (конечно, как я их понимаю). Разумеется, и мой личностный опыт здесь отбросить, отмыслить невозможно» (278). Н. В. Мотрошилова с самого начала подчеркивает (буквально, выделяя курсивом) «субъективный характер» своих «обобщений, размышлений, характеристик» (5), настаивая в то же время, что ее рабо-

2. См.: Мотрошилова Н. Мераб Константинович Мамардашвили. М.: РОССПЭН, 2009. Статья, посвященная значению фигуры Мамардашвили для определенного сегмента (пост)советского философского сообщества, будет опубликована в одном из ближайших номеров «Логоса».

та носит исследовательский, сразу историко-философский и социологический характер (8–9). Это сочетание «субъективности» и «объективности»³ оправдывается следующими соображениями: во-первых, историческое исследование всегда субъективно (4), во-вторых, исследование 50–80-х годов XX века субъективно в особенности (5), а в третьих, «социальный контекст... воздействует на развитие философии... через целый ряд опосредующих звеньев, в конце концов передающих философии отдельные социальные, в том числе духовно-культурные, идейные влияния. К числу социальных звеньев, наиболее близких к миру знания... относятся, по моему мнению, коммуникативные факторы, проявляющиеся в формировании и изменении профессиональных сообществ» (11).

Последнее положение является центральным, поскольку именно оно позволяет монтировать столь разнородные элементы как положение о социальной детерминированности философии, классическую логику историко-философского исследования (с ее исключительным интересом к текстам «наиболее продуктивных и творческих» авторов) и порой весьма эмоциональную мемуарную прозу⁴. Этот проект «социологии познания» работает с та-

кими «большими» (и, пользуясь термином Дэвида Блура, чрезвычайно «слабыми») понятиями, как «эпоха» или «поколение». Первое используется в тексте для постулирования связи между «поворотными событиями» (Победа, смерть Сталина, Пражская весна, перестройка) и ослаблением/усилением идеологического контроля, второе — для обозначения общности взглядов и ценностей тех, кого Н. В. Мотрошилова относит к «неформальному сообществу». Здесь как раз появляется зазор, в который протискивается «субъективное»: разрыв с «догматичной, косной марксистско-ленинской идеологией» мыслится как профессиональный, но одновременно и экзистенциальный выбор, а определяющими факторами этого размежевания объявляются «ценности, установки, ориентации отдельных личностей и программатика их сообществ» (12, 18, 29). И соответственно, сама автор, как носитель этих ценностей и установок, говорит не только о своей «академической банде»⁵, но и от ее имени.

Н. В. Мотрошилова, по-видимому, сознает проблематичность такой позиции и пытается защитить ее с помощью ряда аргументов:

1. «Морального», развернутого в отповеди неназванным «хулителям» (знакомые читателям Н. В. Мотрошиловой эпитеты позволяют предположить, что речь идет, прежде всего, о Галковском), но — в интонациях, частых обращениях к «справедливости» — обнаруживаемого практически во всем тексте.

И если слово уже не раз получали резвые и предельно резкие ав-

3. Уже на уровне лексики и фразеологии: формулировки вроде «по своему опыту знаю», «помню по своим студенческим годам» соседствуют в книге с «при непредвзятом подходе трудно не признать», «сегодня вряд ли требует доказательств», «сегодня совершенно ясно» и т. д.

4. Основной источник, постоянно цитируемый в первых двух разделах, — ифрановская книжка, лишь немногим более откровенно мемуарная: Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век: В 2 кн. / Под ред. В. А. Лекторского. М.: РОССПЭН, 1998.

5. Шефф Т. Дж. Академические банды // Русский журнал. 2.04.1999. URL: <http://old.russ.ru/edu/99-04-02/scheff.htm>.

торы постперестроечного периода, которые в «праведном гневе» пытались и пытаются сравнить с землей всю философию советского и нынешнего времени, то справедливость требует, чтобы были выслушаны также и те, для кого прошедшие десятилетия были временем их жизни, судьбы, надежд и страданий. (Кстати, помимо «праведного гнева» от подавляющего большинства этих авторов и их сегодняшних последователей читатели так и не дождались «блестящих» философских произведений...) (5).

Любопытно здесь то, что реплики «хулителей» (газетные статьи, а сегодня, скорее, посты в *Livejournal* или *Facebook*) даже по прошествии лет предстают более заметными (хоть и более легковесными, конечно), чем многократно превосходящие их по объему тома воспоминаний, монографий, энциклопедий и справочников.

2. «Методологического», предъявляемого, правда, не в явном виде, а в форме анализа нормативной социологии Роберта Мертона. Н. В. Мотрошилова утверждает, что «ни тогда... ни после в этой области не появилось ничего такого, что было бы сопоставимо с нею по глубине и систематичности» (169) и даже что «в социологии науки другие парадигмы... пока не просматриваются» (176). Этот ход, мне кажется, симптоматичным. Во-первых, потому что структурный функционализм,

...введенный в двойственном статусе: официально — как оптимизирующее дополнение, неофициально — как решительный контраргумент к «общей социальной теории» истмата, выступил од-

новременно теоретической основой и отличительным знаком [социологического] профессионализма в терминах 1960-х⁶.

Во-вторых, потому что, как выясняется, достаточно слегка поскрести мертоновскую социологию, чтобы обнаружить за ней философию (171–172). Н. В. Мотрошилова опирается на американский социологический мейнстрим 1960-х (что рассматривалось в момент, когда она начинала им заниматься, как свидетельство социологического профессионализма и, возможно, фрондерства) и одновременно на имманентистскую историко-философскую традицию, запрещающую сводить «высокое» знание к «низменным» обстоятельствам на «философское достоинство»⁷, короче: на своеобразную философию философии. Отказываясь считать на шестой странице философию порождением «мистического мирового духа», она на седьмой называет ее «одной из универсалистских структур человеческого духа»⁸, утверждает существование некоей «объективной логики исследования», благодаря которой отечественные философы примерно в то же время приходили примерно к тем же результатам («спонтанная параллельность»). Не случайно также «главным противником» «исследования в жанре социологии философского познания» оказывается «вульгарный,

6. Бикбов А., Гавриленко С. Российская социология: автономия под вопросом // Логос. 2002. № 5–6 (35). С. 7.

7. Бикбов А. Философское достоинство как предмет исследования // Логос. 2004. № 3–4 (43). С. 30–60.

8. «Ибо она вычленяет, формулирует, закрепляет, транслирует то, что В. С. Степин, примыкая к давним традициям, называет “универсалиями”, то есть всеобщими понятиями, категориями культуры» (7).

идеологизированный социологизм». «Редукционизму» эмпирических детерминаций, анализу профессиональных условий философского производства, карьерных траекторий, позиций и ставок Н. В. Мотрошилова предпочитает констатацию связей между «эпохой» с ее «поворотными событиями» и философией, которые по большому счету могут быть сведены к формуле «на философов идеологически давили, но философия объективно отражала»⁹. Симптоматично, что

9. За единственным ценным исключением: «из представителей поколений, вошедших в отечественную философию и социологию в 1950–1960-х годах, — пишет Н. В. Мотрошилова, — 90–95% составляли те люди, которые родились и (часто) проводили свое школьное детство в деревнях, поселках, небольших городках. Рожденные и выросшие в Москве, Ленинграде, Киеве, то есть в столице и самых крупных городах, составили не более 5–8% от общего числа тех, из кого потом образовались ряды кандидатов, докторов философских наук. <...> Со сказанным тесно связано следующее: в подавляющем большинстве это были выходцы из простых семей. Лишь в очень, очень редких случаях — дети из семей с давними интеллектуальными традициями и корнями» (26). Это наблюдение чрезвычайно интересно, оно могло бы стать отправной точкой для исследования габитуальных оснований общности «неортодоксального философского сообщества» (Мотрошилова, как его член, мыслит эту общность, скорее, в этических категориях). Но что еще может следовать из этого факта? Стоит ли мыслить представителей первого поколения как своего рода нуворишей, с особенным вниманием относящихся к внешним отличиям (таким, например, как тонкости оформления ритуальных цитат или обширность библиографических списков)? Стоит ли связывать их сегодняшнее положение, их движение от производства к дистрибуции, от исследований науки

в длинных перечнях имен историков, социологов и философов науки ни разу не упоминаются занимавшиеся именно социологией философии Ф. Рингер, П. Бурдьё, Ш. Сульт, Р. Коллинз, М. Куш.

3. И наконец, «идеологического»: оппозиция «исследование против идеологии» (33), конечно, также может быть интерпретирована как идеологическая, говорит Н. В. Мотрошилова,

...но «идеология», возводящая в норму проверяемое, доказуемое, на мировом уровне осуществляемое и транслируемое философское исследование, отвечает, по моему мнению, внутреннему характеру, специфике философии как особой формы человеческой культуры (5).

Собственно, вся книга построена вокруг этой оппозиции: советская философия/философия в Советском Союзе, исследование/идеология, официальное/неофициальное сообщества и т. д. Считать ее «идеологической» (в кавычках) Н. В. Мотрошилова соглашается только в смысле некоей универсалистской «идеологии философов»¹⁰. А идеологическое в собственном смысле определяется ей телеологически — это то, что направлено

к рассуждениям о культуре и т. д. в том числе и с этой изначальной оторванностью от интеллектуальной культуры? Здесь нужны конкретные биографические исследования.

10. Может быть, еще и в традиционном политическом смысле: «впоследствии обнаружится смыкание позиций по крайней мере одного крыла неофициального сообщества с защитой прав, свобод человека, то есть с либеральной идеологией западного типа». Но в этот «сложный спор» она не вдается (33).

на «прославление» и «защиту интересов» (власти, класса). Различение ортодоксальное/неортодоксальное основано не на анализе академических структур и рутинных процедур философского производства и даже не на анализе текстов, а на (само) описании «ориентаций, ценностей [членов этих сообществ], критериев, которыми они действительно руководствовались в своей работе» (29). Поскольку сказать, какими ценностями *действительно* руководствовался тот или иной персонаж проблематично, в игру вступает практический опыт Н. В. Мотрошиловой: ее знакомство с действующими лицами позволяет отличать «неизбежные компромиссы» от догматических убеждений (38) и даже «уважаемых авторов» от неуважаемых (85). Такого рода описания столь очевидно асимметричны (в смысле Д. Блура¹¹) и предвзяты (в обычном смысле), что могут рассматриваться, скорее, не как исследование, а как материал для него. Они служат характерным примером, демонстрирующим относительную гетерономность российского философского поля, поскольку включают в себя как почти не эвфемизированные политические или моральные аргументы, так и специфический «объективизм». Думаю, что как раз этот «объективизм» можно рассматривать как своего рода «идеологическую программу», набор интеллектуальных стратегий, связанный с последовательностью занимаемых позиций: от требований профессионализации и деполитизации философии в 1950–1960-х годах (объективирую-

щих «интерес к незаинтересованности»¹², стремление новичков к большей автономизации научных карьер) к «защите достойный истории гуманитарной мысли нашей страны» (под которой может пониматься не только политика канонизации¹³, но и защита здания Института философии на Волхонке или кандидатского экзамена по философии¹⁴).

Непосредственное сочетание интеллектуальных схем и биографических обстоятельств отражается в стилистической разнородности текста, удивительной полифонии. Сухой язык диссертационных введений внезапно сменяется почти державинскими строками:

Лучшим доказательством сказанного может служить то, что множеством статей первой «Философской энциклопедии» и сегодня можно пользоваться как материалами, весьма добротными по своей фактуре, по глубине и объективности раскрытия темы, по охвату имевшей тогда литературы вопроса и т. д. <...> Полагаю, что оценка такого масштаба исторического дела, как пятитомная «Философская энциклопедия», сегодня требует от нас возвратиться к совершенно конкретному анализу ее текстов, что предполагает большой труд, к которому в напряженно-

11. «Одни и те же типы причин будут объяснять, например, и истинные, и ложные представления» (Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5–6 (35). С. 5).

12. Бурдьё П. Клиническая социология поля науки // Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.; СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2001. С. 61.

13. См., напр., тома серии «Философия России второй половины XX века» (РОССПЭН).

14. См.: URL: <http://volkhonka-14.livejournal.com/>.

сти и суете сегодняшнего бытия мало кто склонен (36).

Текст остается при этом вполне «советским», что лучше всего обнаруживается в оговорках, которые Н. В. Мотрошилова считает необходимым сделать: «предпочитаю не приписывать некоторому безличному “мы” утверждения, ответственность за которые нести только мне» (5), «социально-исторической обусловленности (не детерминированности!)» (28) и т. д.

Но, конечно, самая характерная черта ее «диссертационной поэтики» — это списки, перечисления имен академических мужей. Списки разрастаются и принимают эпические формы; достойным мужам приписываются (как гомеровским героям) одни и те же характеристики: они «широко известны своим высоким профессионализмом», стоят «на уровне мировых исследовательских требований», они «критически осваивали западные работы», «предлагали глубокие и оригинальные решения» и, главное, писали «добротные» тексты¹⁵. Величина и значимость измеряются здесь соответствием минимальным требованиям историко-философской компетенции (знание языков, работа с первоисточниками и т. д.), способностью читать «западную литературу», формулировать критические замечания к прочитанному, а также составлять «обширные списки литературы» (121–123) и к месту цитировать Маркса. Парадоксальным образом

чем больше списки, тем яснее их неполнота, невозможность упомянуть всех, «заявивших свое место» (см. 80–81, где в алфавитном порядке перечисляются 88 фамилий). «Самые крупные» фигуры, такие как А. Ф. Лосев или В. Ф. Асмус, характеризуются, в свою очередь, не иначе как через перечисления работ — «в силу полной ясности весомого научного вклада» (78). Поскольку содержательные характеристики текстов здесь большая редкость (даже в *case study*, посвященном «Философской энциклопедии»), списки обретают самостоятельность, обнаруживают своего рода «целесообразность без цели». В риторике то, что делает Н. В. Мотрошилова, называется аккумуляцией. Монотонная размеренность ее текста заставляет вспомнить «Большую элегию Джону Донну», а исключительное внимание к словарям, справочникам и энциклопедиям¹⁶ — *Vertigo* Умберто Эко¹⁷.

И последний штрих. В конце первого раздела Мотрошилова рассказывает о приуроченной к 150-летию Маркса международной конференции. Париж, май 1968 года:

Для той темы, которая обсуждалась на конференции в Сорбонне, события, происходившие в тех же или соседних кварталах, были принципиально важными, знаковыми. Хотя между запад-

15. Это странное, «ремесленное» слово становится почему-то основной характеристикой работы «неортодоксальных авторов», в первых двух разделах оно употребляется буквально страница за страницей (36, 38, 41, 87, 91, 96, 99, 108, 111, 112, 120, 128).

16. «Две важнейшие вехи развития нашей науки — “Философская энциклопедия” 60-х годов и “Новая философская энциклопедия” начала XXI века» (75).

17. «Только барочное мышление с его тягой к беспредельному и необыкновенному сумело породить энциклопедические структуры, включавшие бесконечные перечисления свойств» (Эко У. *Vertigo: круговорот образов, понятий, предметов*. М.: слово/slovo, 2009. С. 233).

ными и отечественными марксистами были немалые различия в способах толкования наследия Маркса, они должны были убедиться в том, что на арену социального действия и социальной мысли вновь (и не в последний раз!) выступает экстремизм, революционаризм анархистского, бунтарского типа, прикрываемый именем Маркса. И размежевания с последним оказались, по крайней мере в перспективе,

существеннее, принципиальнее, чем тонкие теоретические разногласия между философами-исследователями из двух социальных систем (59–60).

Точнее выразить пренебрежение практическими контекстами философии и университетский консерватизм поверх национальных границ, пожалуй, невозможно.

Егор Соколов

МЕЖДУ ЛЕВИАФАНОМ И БЕГЕМОТОМ: ДЕЛИРИЙ О ВСЕМИРНОМ СУВЕРЕНЕ

Gerhard Scheit. Der Wahn vom Weltsouverän. Zur Kritik des Völkerrechts Herbst. Freiburg: Ça ira, 2009. — 300 S. (Герхард Шайт. Делирий о мировом суверене. К критике международного права).

Весь мир ожидает спасителя — только многие не знают, что являются фундаменталистами». Так начинает австрийский философ и музыковед Герхард Шайт свою новую работу, посвященную критике представления о современном мировом суверене в концепциях международного права. «Знающие это веруют в Мессию, Христа или Мухаммеда, тем самым отличаясь друг от друга так же, как от незнающих. Последние возлагают свои надежды на объединение Европы как на прелюдию к объединению мира, на централизованный финансовый надзор над банками и биржами и на вечный мир посредством ООН. Государства по всему миру — таков катехизис Секулярных — должны в конце концов прийти к соглашению не только о вредных веществах, но и об общих налоговых расценках и единых заработных платах, дабы никакой капитал впредь не смог, утекая из одной страны в другую, исполь-

зовать работников и служащих друг против друга, и, наконец-то, реализовался бы справедливый обмен». «Но, — возражает Шайт, — откуда берется та власть, которая гарантирует собственность на средства производства, столь нуждающуюся в сохранении, — во всяком случае когда дело касается „созидательного“ [*schaffendes*], а не „рваческого“ [*raffendes*]... капитала. Это организацию *Attac*¹ волнует так же мало, как общину верующих — вопрос, отчего спасение так до сих пор и не наступило» 13).

Итак, в своей книге Герхард Шайт исследует условия возможности того, почему самые радикальные критики политических фундаменталистов сами оказываются полити-

1. *Attac* — международное общественное движение, выступающее за введение налога Тобина: обложения 0,5% налогом спекулятивных банковских транзакций в пользу социальных программ. — Прим. ред.